

МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ, МОЙ ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ

Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.

Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письма на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника действительному статскому советнику Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких тепличных детей.

Все ребята Армянского и прилегающих к нему переулков учились в двух рядом расположенных школах, по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год моего поступления наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я угодил в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.

Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами, хотя со временем школа всех переварит в своем котле и все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменах, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслаблялись, а за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.

В Телеграфном я и заметил впервые этого длинного, тонкого, бледно-веснучатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глаз, скупно улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в такой момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую и симулирую неуместное, не по игре бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех.

— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..

Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.

Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив горсть снега, пустил в меня ответный снаряд. Когда схватка кончилась, я спросил его:

— Ты под нами живешь?

— Да,—сказал мальчик.— Наши окна выходят в Телеграфный.

— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?

— Две. Вторая темная.

— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку.— После этих светских подробностей я решил представиться.— Меня зовут Юра, а тебя?

И мальчик сказал:

— Павлик.

Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.

Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — взрослым ему не довелось стать,— если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов былого, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свете настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство длящегося во мне его существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью.

Я знаю, что еще не могу написать о Павлике по-настоящему. И неизвестно, смогу ли когда-нибудь. Мне очень многое непонятно — ну хотя бы, что значит в символике бытия смерть двадцатилетних. И все же он должен быть в этой книге, без него, говоря словами Андрея Платонова, народ моего детства неполон.

Поначалу наше знакомство больше значило для Павлика, нежели для меня. Я уже был искушен в дружбе. Помимо рядовых и добрых друзей, у меня имелся закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя Гребенников. Наша с ним дружба началась еще в нежном возрасте четырех лет.

Митя был жителем нашего дома, но с год назад его родители поменяли квартиру. Митя оказался по соседству в большом шестиэтажном доме, на углу Сверчкова и Потаповского, и ужасно заважничал. Дом был, правда, хоть куда, с роскошными парадными, тяжелыми дверями и просторным плавным лифтом. Митя не уставал хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа...», «Не понимаю, как люди обходятся без лифта...» Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и прекрасно обходился без лифта. Глядя на меня влажными темными глазами, похожими, если верить взрослым, на чернослив, Митя брезгливо сказал, что это время кажется ему страшным сном. За такое следовало набить морду. Но Митя не только внешне походил на девчонку — слабодушный, чувствительный, слезливый, хотя и способный к истерическим вспышкам ярости,— на него рука не подымалась. И все-таки я ему всыпал. С истошным ревом он схватил фруктовый нож и попытался зарезать меня. Впрочем, по-женски отходчивый, он чуть ли не на другой день полез мириться. «Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять ее» — вот какие фразы и еще похлестче уже тогда умел он загигать. Отец у него был адвокатом, и Митя унаследовал дар велеречия.

Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. Мы попали в одну школу, и наши матери позаботились посадить нас за одну парту. Когда выбирали классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. А я не назвал его имени, когда выдвигались кандидатуры на другие общественные посты.

Сам не знаю, почему я не сделал этого, то ли от растерянности, то ли мне показалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул мое имя. Митя невыказал ни

малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран санитаром. В мои обязанности входило носить нарукавный красный крест и осматривать перед уроками руки и шеи учеников, отмечая грязненькие крестиками в тетрадке. Получивший три крестика должен был или вымыться, или привести в школу родителей. Казалось бы, ничего особенно заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от зависти. Не один вечер после злополучных выборов он звонил ко мне домой по телефону и голосом, полным ядовитого сарказма, требовал «товарища санитаря». Я подходил. «Товарищ санитар?» — «Да!» — «А, черт бадянский!» — кричал он и швырял трубку. Лишь от большой злобы можно придумать какого-то «черта бадянского»; я так и не выяснил, что это — фамилия нечистого или какое-то загадочное и отвратительное его свойство.

Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры, всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне непрременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно в известной мере и было. Павлик сравнительно недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, да и — я уже говорил об этом — он был из тех несчастных ребяташек, которых выгуливали в Лазаревском и церковных садах.

Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы я никогда не видел, чтобы Павлику что-либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу, так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интересами, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещением в пространстве. И тут он был гораздо свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилком. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости в школе: что там ни говори — ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом Чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, Чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами — «черносливом», прической с противным названием «бубикопф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!

Ко всему еще он оказался ябедой. Однажды классная руководительница велела мне остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. Лишь раз в жизни, еще в дошкольное время, играл я в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и еще рубль в долг. Поверив чистосердечному раскаянию, дед помог мне вернуть долг чести, на том и кончилось мое знакомство с азартными играми.

Прижатый в угол, Митя сознался в доносе. Он оговорил меня, для моей же пользы, боясь, что дурные наклонности вновь пробудятся во мне и погубят мою столь счастливо начавшуюся карьеру — он имел в виду пост санитаря. А затем со слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и пытался вlepить мне иудин поцелуй. Все это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не

менее я еще года два, если не больше, участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес. Митя все же был привязан ко мне и тяжело переживал разрыв...

И вот настал в моей жизни Павлик. И у дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. Недоброжелатели считали, что Павлик какой-то принудительный ассортимент ко мне. Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» — сперва во дворе, потом в школе — он перешел в наш класс и вновь оказался на положении чужака. И тут действительно дело было поставлено строго: меня нельзя было пригласить на день рождения, Новый год или другой праздник, не пригласив Павлика. Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся лишь вместе с ним. Так возникла иллюзия нашего неравенства, которую не могла рассеять вся последующая жизнь. Общественное мнение не склонно к перемене даже перед лицом очевидности.

На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика. Его нравственный кодекс был строже и чище моего. Долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно: я привык к известному моральному соглашательству. Прощение предательства немногим отличается от самого предательства. Павлик не признавал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет по четырнадцать, когда я на своей шкуре испытал, насколько непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик.

На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. Мать не зря надрывалась над пишущей машинкой, выколачивая рубли для оплаты фрейлейн Шульц, омрачившей мои детские годы. В мою довольно тупую к языкам голову вошло столько немецких слов, стихов и грамматических правил, не говоря уже об «эхт берлинер аусшпрахе», что все наши часто менявшиеся школьные немки души во мне не чаяли. И задержавшаяся дольше других Елена Францевна не являла собой исключения, хотя я никак не соответствовал ее идеалу ученика.

Елена Францевна требовала в классе не просто тишины и внимания, а молитвенной сосредоточенности, как в храме. Худущая, изжелта-серая, напоминающая лемура громадными темными подглазьями на изможденном, в кулачок, личике, она казалась умирающей от какой-то страшной болезни. Но она была совершенно здорова, никогда не пропускала уроков, даже во время эпидемий гриппа, валивших всех учителей подряд. Она могла наорать на ученика за рассеянный взгляд или случайную улыбку. Куда хуже крика были ее въедливые нотации, она словно кусала тебя обидными словами. Конечно, за глаза ее звали Крысой — в каждой школе есть своя Крыса, а худая, востренькая, злая Елена Францевна казалась специально созданной для этой клички. Была ли она на самом деле такой злой? У ребят не существовало двух мнений на этот счет. Мне же она представлялась несчастным, издерганным человеком. Но я-то был принцем! Она вызывала меня читать вслух, и маленькое некрасивое ее лицо молодо розовело, когда я выдавал на-гора свое «истинно берлинское произношение».

Но настал и мой черед. Елена Францевна никогда не спрашивала у меня уроков. Мы и так разговаривали с ней по-немецки, чего же еще надо? Вдруг ни с того ни с сего она вызвала меня к доске, будто самого рядового ученика. Как раз перед этим я пропустил несколько дней — то ли болел, то ли прогуливал — и понятия не имел о домашнем задании. Наверное, она все-таки была злючкой и вызвала меня нарочно, чтоб подловить. Но поначалу все шло хорошо. Я проспиргал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, требующие дательного падежа, прочел по учебнику тошнотворно-назидательную историю и пересказал с берлинским акцентом содержание.

— Прекрасно,— поджала узкие, бледные губы Елена Францевна.— Теперь стихотворение.

— Какое стихотворение?

— То, которое задано! — отчеканила она ледяным тоном.

— А вы разве задавали?

Привык на уроках ворон считать! — удивительно, как легко она заводилась — с пол-оборота.— Здоровенный парень, а дисциплина...

— Да я же не был в школе! Я болел.

Она уставилась на меня окольцованными синевой лемурийскими глазами и стала листать классный журнал. Пальцы ее дрожали.

— Совершенно верно, ты отсутствовал. А спросить у товарищей, что задано, мозгов не хватило?

Взял бы да и сказал: не хватило. Ну что она могла мне сделать? Поставить «неуд»? Едва ли. И тут я нашел выход. О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о стихотворении. Забыл, наверное. Я так и сказал Елене Францевне с легкой усмешкой, призывая и ее отнестись к случившемуся юмористически.

— Встань! — приказала Павлику немка.— Это правда? Он молча наклонил голову. И я тут же понял, что

это неправда. Как раз о немецком я его не спрашивал. О математике, русском, истории, биологии спрашивал, а готовить немецкие уроки я считал ниже своего достоинства.

Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. Он слушал ее, по обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно все это нисколько его не касалось. Спустив пары, немка утомилась и предложила мне прочесть любое стихотворение на выбор... Я рванул шиллеровскую «Перчатку» и заработал жирное «отлично».

Вот так все и обошлось. Ан, не обошлось! Когда, довольный и счастливый, я вернулся на свое место, Павлика не оказалось рядом. Исчезли его учебники, тетрадки, вставочка с пером «рондо». Я оглянулся, он сидел за пустой партой, через проход, позади меня.

— Ты чего это?..

Он не ответил. У него были какие-то странные глаза: красные и налитые влагой. Я никогда не видел Павлика плачущим. Даже после самых жестоких, неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята плачут — не от боли, от обиды,— он не плакал. Он и сейчас не давал слезам пролиться, но, конечно же, он плакал.

— Брось! — сказал я.— Стоит ли из-за Крысы?

Он молчал и глядел мимо меня. Какое ему дело до Крысы, он и думать о ней забыл. Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, среди бела дня, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошел бы в огонь и в воду.

Никому не хочется признаваться в собственной низости. Я стал уговаривать себя, что поступил правильно. Как ни крути, он все-таки подвел меня, пусть и невольно, и мне пришлось защищаться. Ну покричала на него немка, подумаешь, несчастье, она на всех кричит! Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. И все же, окажись Павлик на моем месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы собственный язык. И вдруг каким-то холодком по хребту я понял, что это не пустые слова. Недавно я прочел книжку про Джордано Бруно «Псы Господни». Из всех людей, каких я знал, только Павлик мог бы, как Джордано Бруно... Ради своей правды... А ведь так оно и случилось: подобно Джордано, Павлик кончил жизнь в огне. Он мог спастись, для этого ему достаточно было всего лишь поднять руки...

Когда прозвучал звонок, я подавил желание броситься к нему, признавая тем самым свою вину и готовность принять кару.

Почти год держал он меня в отчуждении. Все мои попытки помириться так, «между прочим», успеха не имели. А возможности были — мы по-прежнему учились в одном классе, жили в одном подъезде, наши пути все время пересекались. Надо отдать должное чуткости класса: уважая нашу ссору, как раньше уважали дружбу, ребята деликатно охраняли нашу разобщенность, помогая избегать ложных положений, разных неловкостей.

Учителя и другие взрослые люди, не ведавшие о нашем разрыве, то и дело совершали невольные промахи, по привычке считая нас с Павликом неразлучниками. Будь то опыты на уроке химии, занятия в физическом кружке, воскресники, дежурства в учительской, нас обязательно зачисляли в одну группу, звено или пару. Ребята неприметно помогали нам разъединиться.

В глубине души я вовсе не испытывал к ним благодарности. Они мешали моему тайному стремлению помириться с Павликом невзначай. Но все равно выпадало немало случаев, когда при обоюдной доброй воле мы могли начать хотя бы суховатое общение, чтобы затем без выяснения отношений и всякой «достоевщины», столь любезной Мите Гребенникову, вернуться к прежней дружбе. Ничего не получалось — Павлик не хотел этого. Не только потому, что презирал всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости, все скользкое, уклончивое, двусмысленное — прибежище слабых душ, но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на уроке немецкого.

Когда же через год я послал ему записку с просьбой о встрече, он без всяких церемоний сразу поднялся ко мне, как делал это прежде. С некоторым смущением я обнаружил, что не должен извиняться, ни даже словом касаться прошлого. Павлик не хотел, чтобы я нес ответственность за себя прежнего. Он понял, что во мне стала другая кровь, вот и пришел.

Поль Валери¹ сказал: «Писатель вознаграждает себя как умеет за какую-то несправедливость судьбы». Сейчас я вознаграждаю себя за несправедливость судьбы к Павлику. Когда мы недавно собирались в нашем старом дворе, я тщетно ждал, что наконец-то услышу о нем добрые и высокие слова. Вспоминали Ивана, вспоминали Арсенова, Толю Симакова, Борьку Соломатина, но хоть бы кто сказал о Павлике. Только письмо его родным отправили, но ведь это не более чем формальность, пусть и благородная...

Его не знали. Редкое душевное целомудрие заставляло его держать на запоре свой внутренний мир. Он не считал себя вправе навязывать людям свои мысли и соображения, взгляды и оценки, не говоря уже о сомнениях и надеждах. Посторонним людям он казался апатичным, вялым, безучастно пропускающим бытие мимо себя. Но я-то знаю, как мощно заряжен на жизнь был Павлик, каким сильным, страстным, целенаправленным характером он обладал. Ему так и не пришлось выйти на суд людской. Все, что в нем развивалось, зрело, строилось, не успело обрести форму...

Природа у дружбы иная, чем у любви. Легко любить ни за что, и очень трудно — за что-нибудь. Дружба не столь безотчетное чувство, хотя и в ней есть своя мистика. Я знаю, что привлекало Павлика во мне и чем явился для меня он в начале наших отношений. Потом годы окутали нас таким добрым теплом, что не осталось места головному рассуждению.

Павлик был мальчик «умственный». Из всех литературных героев он больше всего походил на Джуда Незаметного с его неодолимой тягой к образованию, книгам, с вечным интеллектуальным голодом. В своей семье Павлик не имел питательной среды. Его отец был часовщиком, с постоянно расширенным и слезящимся от лупы левым глазом. Кроме часов, его ничего на свете не интересовало. Это только в сказках часовщик оваян дыханием романтики и доброго чудачества. Считается, что причастность

к таинственной стихии времени выделяет человека из обыденности. Отец Павлика ремонтировал секунды, минуты и часы, но сам жил вне времени, безразличным к его интересам, страстям и борениям. Правда, в иную добрую минуту он с удовольствием вспоминал, что смотрел однажды замечательный спектакль «Коварский и любовь». У Павлика мертвело лицо, когда отец посягал на подобного рода разговоры.

Его мать производила впечатление женщины, не ведавшей, что изобретено книгопечатание. И это казалось тем более странным, что ее братья были крупными учеными: химик и биолог. Она не поддерживала с ними родственных отношений, а может, они с ней. Мать Павлика явилась в мир, так и не очнувшись до конца от темного сна предбытия: тихий голос, отсутствующий взгляд, замедленные жесты, неконтактность с окружающими. Она свела свою жизнь к минимуму забот. Павлик сделал все от него зависящее, чтобы не попасть в этот малый круг, уступив младшему брату скупое материнское внимание. Но и на нее иной раз находило: она подвигала к пианино вращающуюся табуретку и слабо беспокоила клавиши вялыми пальцами, закрыв глаза бледными, тонкими веками, похожими на птичью пленку. Лицо Павлика мертвело, как и во время культурных диверсий отца.

В нашей семье все думали. Быть может, больше, чем надо. У нас существовал культ книг: дед собирал научную библиотеку, отец — техническую, мы с матерью — художественную литературу и мемуары. О литературе говорили все время, пренебрегая известным утверждением, что литературой можно заниматься, но Боже упаси о ней говорить. И конечно, вскормленный такой средой, я был очень книжным мальчиком. Зловещему обаянию двора и акулловской дачи я обязан тем, что не стал книжным червем. Павлику наша настроенность на культуру была необходима как воздух.

Мне же общение с ним давало нечто большее. Он был не только Атосом наших детских игр в мушкетеры, он обладал характером Атоса: безупречным и благородным всегда и во всем, вопреки всему.

С каждым годом мы становились все ближе и дороже друг другу. На пороге юности нас поразил общий недуг — невыясненность наших устремлений. Вопрос, кем быть, возник в наших душах куда раньше, нежели его продиктовала жизненная необходимость. Мы оба хотели играть, а не присутствовать безмолвными статистами на сцене жизни. Иные ребята, одаренные Богом, уже знали свой путь. Математика сама нашла Славу Зубкова, музыка — Тольку Симакова, живопись — Сережу Лепковского, спорт — Арсенова. Другие ребята, не подчиненные рано проснувшемуся дару, знали хотя бы примерное направление своего будущего: техника, медицина, педагогика, строительство. Многие наши сверстники, не мучась понапрасну, жили изо дня в день: школа, футбол, кино, девочки, а там видно будет.

Мы не могли принять такую ползучую жизнь. Неизвестность томила нас. Мы оба хорошо и ровно учились по всем предметам, но у нас не было ведущей страсти; чтение — страсть пассивная, нельзя стать просто читателем, так же как и театральным зрителем или посетителем музеев. У нас не было и ярко выраженных способностей, нас интересовало все. Теперь я понимаю, что мы уже тогда числились по ведомству Аполлона, а не иных серьезных богов, но сами мы охотнее посещали лекции академиков Лазарева и Вавилова, чем спектакли и концерты. Мы искали себя. Застрельщиком поисков был Павлик. Это его осенило, что мы должны варить гуталин. Знаменитый дядя-химик начинал с варки гуталина и однажды сварил такой замечательный гуталин, что сразу вошел в славу. Нам такого гуталина сварить не удалось, хотя мы продушили всю квартиру въедливым запахом ваксы. Чтобы жильцы не ругались, мы всем чистили ботинки, а Фоме Зубцову — сапоги. Отец, смеясь, говорил, что так начинал не Лавуазье, а Рокфеллер. Но из нас даже Рокфеллеров не вышло. Наш гуталин не давал блеска, хотя

здорово пачкался, и Фома Зубцов всякий раз «перечищал» свои хромовые сапоги у айсоров на углу Кривоколенного переулка.

Затем мы пытались создать красную тушь. Жидкость оставляла несмываемые пятна на руках, одежде, стенах и грязно-белой шерсти моего пса Джека, но, нанесенная пером на бумагу, обнаруживала непонятную водянистость. Строки бледнели, таяли, и мы уже готовы были поверить, что ненароком создали «симпатическую тушь», но ядовитый цвет не исчезал совсем.

Блистательный пример дяди-химика заставлял нас упорно цепляться за чуждую нам науку. Мы беспощадно били пробирки, переводили химикалии, колбы лопа¹ лись над спиртовкой как бомбы, вызывая панику среди соседей, и наконец у Павлика достало мужества сказать: «Хватит добывать стекло из пробирок!» На химии был поставлен крест.

Пришел черед физики, науки будущего. Мы изнуряли себя на лекциях знаменитых ученых, пытались постигнуть теорию относительности, для бодрости повесив на стенке портрет Альберта Эйнштейна, спорили о квантовой теории, не понимая в ней ни шиша, ломали головы над книгами... Эддингтона, Брэгга, но едва справлялись даже со школьной физикой, потому что оба были бездарны в математике. Нас выручил... Пастернак. В «Охранной грамоте» я прочел о муках будущего поэта, мечтавшего стать композитором, но не обладавшего абсолютным слухом. Он отказался от музыки, узнав, что его кумир, гениальный Скрябин, скрывает как нечто постыдное несовершенство своего слуха. Павлик не сразу понял, куда я гну, и мне пришлось пояснить: «Для современного физика математика все равно что абсолютный слух для композитора».

— Правильно! — сказал он и оборвал провода на мостике Уитстона, который начинал собирать.— К черту! — А потом добавил задумчиво:— А все-таки Скрябин стал Скрябиным и без абсолютного слуха.

Но Скрябин не мог без музыки, а Пастернак мог и отступился. Мы тоже могли без физики...

Миновала, поглотив уйму времени и сил, но не захватив душу, география с картами, атласами, глобусами, с книгами о Ливингстоне, Стэнли, Миклухо-Маклае и Пржевальском, с новыми странствиями по Москве, но теперь уже для того, чтобы всему узнать имя; ботаника с гербариями, с тонким, волнующим ароматом засушенных цветов, трав, листьев, с приобретением в складчину слабенького микроскопа; электротехника, отмеченная серией коротких замыканий и одним серьезным пожаром,— была красная машина, и тревожный звон колокола, и сперва плоское, затем по-удавьи округлившееся, долгое тело шланга, и" бравые, расторопные пожарные в сияющих золотых касках...

Наш отдых от трудов праведных был не менее изнурителен и целенаправлен. «Перерыв!» — объявлял Павлик и ставил на нос кий от настольного бильярда, или стул, или половую щетку, или цветок, если дело происходило летом. Я немедленно следовал его примеру.

Мы увлеклись балансированием, посмотрев в мюзик-холле номер австрийского гастролера, мага и волшебника. Он балансировал на слабо натянутом канате, держа на кончике раскляпанного носа полутораметровый стальной штырь с подносом, на котором стояли кипящий самовар и чайный сервиз. «Этому можно научиться»,— задумчиво сказал Павлик, заставив меня поежиться.

Я хорошо знал, что у Павлика слово не расходится с делом. Знал боками и легким сотрясением мозга. Когда награждали первых девушек-парашютисток, Павлик решил, что ради поддержания мужской чести мы тоже должны совершить прыжок с двумя зонтиками из окна его кухни во двор. Хорошо еще, что мужская честь удовлетворялась

прыжком из его кухни, а не из моей, находившейся этажом выше.

Мы раздобыли зонтики и кинули жребий, кому прыгать первым. Выпало мне. Я не особенно волновался: несколько пробных прыжков с платяного шкафа убедили нас, что зонтики держат не хуже парашюта. Я влез на подоконник, затем стал на карниз. Внизу подо мной светлела полоска асфальта, дальше двор был вымощен булыжником. Я видел круглые картузы возчиков, плешь дворника Валида, макушки играющих в «классы» девчонок, спины лошадей. И я шагнул туда, к ним, вниз. На мгновение показалось, что плотная струя воздуха подхватила меня, вслед за тем двор со всем, что его населяло, подскочил вверх и ударил меня в пятки. Что-то взболтнулось в голове, и я потерял сознание.

Вокруг меня хлопотали люди, когда сверху примчался Павлик. Поразив всех своим чудовищным бессердечием, он даже не глянул на поверженного друга, схватил зонтики и, убедившись, что они не пострадали, пулей взлетел наверх. Через секунду он распластался рядом со мной, его приземление оказалось удачнее, он отделался потерей половинки переднего зуба...

Поэтому не стоило рассчитывать, что балансирование, когда им занимаешься на пару с Павликом, — невинная забава. Вот как все это выглядело в ту пору, когда после долгих беспощадных тренировок мы сравнивались с австрийским виртуозом.

По команде мы разом вскидываем на нос, лоб или подбородок какой-нибудь предмет. Миг-другой, обретен центр равновесия — и предмет застывает в совершенной неподвижности. Проходят десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса. Голова, откинутаая назад, затекает, пора кончать, но никому не хочется сдаваться.

Приходит из города мать с покупками. Мы здороваемся, не меняя позы. Мать идет в темную комнату, переодевается там, достает коробку с работой, что-то штопает, подшивает, тихонько напевая про себя. Затем прячет коробку в шкаф, выходит и застаёт нас в той же позе.

— Какой кошмар! — большим голосом говорит мать и идет на кухню.

Через некоторое время возвращается с кофейником в руке — ничего не изменилось.

— Господи! Вы посмотрели бы на себя со стороны — законченные идиоты!.. Вас же удар хватит!..

Мать не далека от истины: в затылке тяжесть, видно, вся кровь скопилась там. Пробую заговорить Павлику зубы: уроки, мол, не сделаны, надо прочесть пьесу Жироду «Троянской войны не будет», которую мне дали на один вечер, — ни ответа, ни привета. Проходит еще минут двадцать. Смерть начинает казаться избавлением, но я еще цепляюсь за жизнь.

— Давай так, — предлагаю я, — считаем до трех — и все!

— Как хочешь, — равнодушно отзывается Павлик.

— Раз, два, три!

Мы враз обретаем свободу, Павлик никогда не мешкает, он не нуждается в такой мелкой победе, но ему хочется, чтобы я тоже научился терпению...

Поиски своего лица продолжались... Меж тем я начал писать рассказы, а Павлик — пробовать силы на подмостках любительской сцены, но почему-то в этих своих занятиях мы уже не стремились к объединению. Я не предлагал Павлику соавторство, а он не уговаривал меня стать его партнером. Наверное, потому, что тут каждый столкнулся со своей судьбой, с единственным делом, которому должен был служить. Но мы даже самим себе не признавались, что выбор сделан. Мы обманывали себя так искренне, что по окончании школы оба подали заявление в медицинский институт — обычное прибежище тех, кто не ладит с математикой и не верит в себя на гуманитарном поприще. Лишь убедившись в тщете своего жестокого благоразумия, лишенные в непосильной

зубрежке возможности заниматься тем, без чего жизнь нам была не в жизнь, мы среди года ринулись на вновь открывшиеся факультеты киноинститута. Я с грехом пополам поступил на сценарный. Павлик провалился на режиссерском. Зато через полгода он блестяще сдал экзамены сразу в три института: в ГИТИС, куда и пошел, в тот же ВГИК, чтоб доказать себе и другим, что может туда поступить, и для спокойствия родителей в историко-архивный. «Что ж,— рассуждал его отец,— Павлик не стал врачом, но, может быть, я увижу его в постановке «Коварский и любовь».

Он этого не дождался. В первый день войны ребята Армянского переулкa явились в военкомат. Нас с Толей Симаковым забраковали — поначалу война была разборчивой. Павлику повезло. В сентябре я получил от него кое-как нацарапанную открытку: «Эти мерзавцы здорово бомбят, но ничего — живем».

А жить ему оставалось совсем немного. Он погиб под Сухиничами. Немцы предлагали советским солдатам, захваченным врасплох в здании сельсовета, сохранить им жизнь, если они положат оружие на деревянный, изрешеченный пулями пол и выйдут по одному с поднятыми руками. Но вот этого-то как раз и не могли сделать бойцы поредевшего отделения, которым командовал Павлик. Потеряв многих своих людей, немцы подожгли сельсовет, но из пламени и дыма еще раздавались выстрелы. Ни один человек не вышел. Так рассказывали местные жители, когда вернулись наши. К тому времени от всей деревни остались лишь зола да угли.

...Четверть века прошло с окончания войны, прожита лучшая, главная часть жизни, а мне до сих пор то чаще, то реже каждый год снится Павлик. Сон — счастливый художник, ему не нужно заботиться о цельности сюжетной ткани, о правдоподобию, достоверности, мотивировках, он владеет тайной, заставляющей безотчетно верить ему, прощать нескладицу и даже явную нелепость. Мне всегда снится одно и то же, разнятся лишь второстепенные подробности, улетающие по пробуждении и ничего не меняющие в существе сна: Павлик жив и вернулся. Непонятно, где он был все эти годы, почему не давал о себе знать. Во всяком случае, тут нет ничего зазорного для него. Подразумевается долгая утрата памяти, летаргия забывшей себя личности — сон пренебрегает точным объяснением. Довольно того, что Павлик жив и вернулся. И хотя меня тревожит и томит невнятность судьбы чудом воскресшего, все меркнет перед громадным счастьем — Павлик жив, жив!.. А затем начинается нечто смутное и безмерно печальное. Павлик не идет ко мне. Я ему не нужен. Возле него как-то дискретно реет его молчаливая мать, равно призрачная и во сне и в жизни, и все же более необходимая вернувшемуся Павлику, чем я, единственный друг; их осеняет какая-то общая забота, которую мне не дано разделить. Но ведь должны мы отговориться, отплакаться за все эти годы. Неужели Павлик не понимает этого, неужели он совсем забыл меня? Нет, он все понимает и ничего не забыл. Он сознательно не идет ко мне, исключает меня из своего нового бытия. За что? Я ни в чем не виноват перед ним, я не сделал ничего плохого, ему не в чем упрекнуть меня. Во сне я объясняю все это кому-то: то ли его матери в тщетной надежде, что она поможет мне, то ли самому Павлику, но не вслух, а на неслышном наяву языке. Но он-то слышит меня и не отзывается. Вдруг он возникает совсем рядом со мной, холодно кивает и молча проходит мимо.

Я просыпаюсь с мокрым лицом и долго думаю об этом сне, испытывая острую душевную боль. Я перебираю свою жизнь, поступки, отношения с людьми, все наработанное и не нахожу за собой вины, заслуживающей такого наказания. Но, может быть, там, откуда пришел Павлик, иные мерки, быть может, мы сами некогда иначе мерили себя?..

Минувшим летом грибная страсть занесла меня на край Калужской области. Приятель, купивший там за бесценок брошенный дом в полупустой деревне, обещал мне

настоящий грибной рай. Как полагается новоселу, он плохо знал дорогу, и мы долго плутали по каким-то новым шоссе и старым проселкам. И однажды мелькнула, царапнув по сердцу, надпись на дорожном указателе: «До Сухиничей...» — я не разобрал, сколько километров. Наконец мы оказались в молодом смешанном леске — березы, осины, невысокие елочки, и приятель неуверенно, будто советуясь, сказал: «Кажется, здесь...»

Может, мы и не туда приехали, но после исхоженных, с примятой, а то и вовсе вытопанной травой редких подмосковных лесов тут нам и впрямь привиделся рай... Грибы попадались разные и все больше не особо ценные: сыроежки, моховики, лисички, но случались и подберезовики, и даже белые. И какой-то особый был этот лесок: чистый, нехоженный, неломаный, просквоженный солнцем, без паутины и прилипчивых мух. По нему легко ходилось: ни чащобы, ни валежника, ни потных, вязких мест, где нога вдруг по колено проваливается в торф,— никаких подвохов не таил молодой, приветливый реднячок. Может, потому я почувствовал скорее обиду, нежели боль, напорвшись на что-то острое, скрытое в траве. Инстинктивно я рванулся вперед и чудом удержал равновесие: мои ноги запутались в колючей проволоке. Я увидел свой капкан, на миг приподняв его над травой. Приятель поспешил мне на помощь. Вдвоем мы освободили мои матерчатые туфли и брючины от шипов, а затем извлекли на свет Божий тяжелый моток колючей проволоки, той самой, без которой немислим передний край.

Она лежала у наших ног, частью сухая и красно-рыжая, •' частью мокрая, черная, в налете какой-то плесени, безобразная, давно мертвая, но еще способная ужалить...

Я никак не был настроен на встречу с войной. Молодой лес вырос там, где некогда были землянки, окопы, ходы сообщений, пулеметные гнезда, колючая проволока, минные поля и погорелья деревень.

И тут-то меня нагнала и пронзила стрела дорожного знака: «До Сухиничей...» Вот на этой земле, где-то поблизости, а может быть, прямо здесь Павлик доживал свою короткую жизнь. Почему-то мне впервые представилось, что в окруженном неприятелем сельсовете творилась не смерть, а последняя жизнь Павлика. Пока все не стало огнем, он жил жизнью мысли и всех чувств, памяти, слов и маленьких желаний: попить воды, покурить, утереть пот со лба. Он жил и, как всякий живой, обладал своим прошлым, ему являлись лица людей, которых он успел полюбить, и лица тех, кого он не успел возненавидеть; фоном им служили бульвары, переулки, театральные залы, аудитории, казармы. И что-то он задерживал, оставлял с собой, что-то отмахивал как ненужное, мешающее...

И уж в который раз пришло ко мне: если мерить мою жизнь последним поступком Павлика, разве могу я считать, что ни в чем не виноват? Нет. Виноват во многом: в том, что не отдал своей жизни за друга, не спас, не защитил миллионы погибших, виноват в тюрьмах и лагерях, в убийствах президентов и проповедников, в том, что в мире не затихают выстрелы, не затухают пожарища, гибнут дети и не счесть обездоленных...

Каждый погибший откупает у гибели другого. Павлик дал себя сжечь, чтобы жил я. А я плохо распорядился его подарком. Надо все время помнить о подвиге ушедших; быть может, тогда исчезнет зло и исполнится самая заветная человеческая мечта — вернуть к жизни погибших...

Вопросы и задания

1. Какое впечатление произвел Павлик на рассказчика, когда он впервые увидел его? Опишите его портрет.

2. «Нам было лет по четырнадцать, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик». Из-за чего возник конфликт между друзьями? Как он их характеризует? Почему через год возобновилась их дружба?

3. «...Ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика». Что такое «душевное превосходство»? Какое основание имел рассказчик так сказать о своем друге? Докажите это на конкретном примере.

4. «Я знаю, что привлекло Павлика во мне и чем явился для меня он в начале наших отношений».

Найдите и прочитайте в рассказе ответы на эти вопросы.

5. Как осуществлялись друзьями «поиски своего лица»? Сопоставьте эти факты с биографией писателя. Чем они дополняют друг друга?

6. Как погиб Павлик? Как рассказчик связывает смерть Павлика со всей его жизнью?

7. «Если мерить мою жизнь последним поступком Павлика, разве могу я считать, что ни в чем не виноват? Нет. Виноват». О какой вине говорит писатель? Как вы понимаете смысл этих слов?

8. Вспомните стихотворение А. С. Пушкина, начинающееся строчкой: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Кому оно посвящено? Как вы думаете, почему Ю. Нагибин так же назвал свой рассказ?

Как связан рассказ Ю. Нагибина с нашим временем? Какие чувства волновали вас при его чтении?